

ШУЛЬГА М. В.

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПАДЕЖНОЙ ОМОНИМИИ  
В РУССКОМ СКЛОНЕНИИ

Замещение в истории древнерусского языка флексии Р. ед. *-оѣ* флексией *-ой* в атрибутивных формах женского рода (у прилагательных, причастий, неличных местоимений) интерпретируется по-разному. Здесь предполагают редукцию конечного | ѣ | до нуля, т. е. фонетический процесс [1, с. 93; 2, с. 195, 234; 3; 4, с. 72]. Рассматривается явление и под морфонологическим углом зрения — как реализация тенденции к преобразованию двусложной флексии в односложную, что в исторической перспективе (вместе с более поздним замещением флексии Т. ед. *-ою* флексией *-ой*) унифицировало в отношении количества слогов флексии непрямых падежей или даже всех падежей парадигмы, как в северных говорах, где распространены стяженные флексии и в И., В. падежах (*нова, нову*) [5; 6, с. 235—236].

Попытки более или менее развернутой аргументации предпринимались только в пользу морфонологического объяснения. Однако хронология явления, его территориальное распространение ставят под сомнение эту гипотезу. Хронологически не подтверждается, и об этом уже писалось [6, с. 236], ссылка А. А. Шахматова [5] на более раннее распространение флексии *-ой* в форме Т. ед., якобы спровоцировавшей сокращение флексии родительного падежа. Но так же нет оснований утверждать, что стяженные формы типа *нова, нову*, которые, по мнению других сторонников этой концепции [6], дали толчок тенденции к слоговому «уравниванию» флексий женского местоименного склонения, предшествовали новообразованиям в Р. ед. Если следовать показаниям памятников, то во времени события развивались в обратном порядке. Наиболее ранним свидетельством стяжения, при этом в глагольной флексии, является, видимо, форма *сказываш* из московской грамоты 1433 г. [7], аналогичные примеры с прилагательными известны, кажется, только с XVI в. [8]. Поздний характер стяжения подтверждается данными лингвистической географии [9, с. 175]. В. Г. Орлова нижним его рубежом применительно к территории Великого княжества Московского называет конец XV в. Что же касается Новгородской земли, в одном из памятников которой случай с Р. ед. на *-ои* отмечен уже в XII в., то здесь стяжение — еще более поздний процесс, связываемый с перемещением сюда населения с центральных территорий после присоединения Новгорода к Московскому княжеству [9, с. 176].

Показательно также то, что не совпадает даже в пределах восточнославянской языковой территории лингвогеография стяженных флексий прилагательных и односложной флексии Р. ед. С одной стороны, при повсеместно употребительных и литературно «узаконенных» формах типа И. *нова, В. нову* украинский язык удержал в Р. ед. *нової* (| нѡвоѣ |, где | и | < | ѣ |), т. е. двусложную флексию. А с другой стороны, на великорусской языковой территории сохранение двусложной флексии Р. ед. (*молод | ѣ |* и *молод | ѣ |* и другие варианты [9, с. 276]) наблюдается именно в зоне функционирования стяженных форм, в говорах Вологодской группы. С этих позиций сомнительно наличие непосредственной связи между стяжением флексий и преобразованиями в Р. ед.

Подверженность всегда заударного гласного редукции в конечном открытом поствокальном слого данной формы должна, естественно, приниматься во внимание при анализе явлений, подобных рассматриваемому.

Однако к фонетике история формы Р. ед. несводима. Прежде всего очевидно, что не всякое заударное и даже постоянно заударное | ё | сократилось до нуля звука: ср. И. мн. типа *новыѣ* > *новые*. Далее, благоприятствующей редукции следует предполагать акающую систему вокализма. Но оппозиция оканье/аканье и оппозиция наличие/отсутствие рефлексов конечного | ё | во флексии Р. ед. не обнаруживают явных причинно-следственных связей. В диахронии, наоборот, вторая складывается раньше, чем первая, а современные их ареалы переплетаются. Распространение формы Р. ед. типа *новой* выходит далеко за пределы территории аканья. Эти формы установились и в польском, чешском, словацком языках. С другой же стороны, в акающих белорусских говорах довольно широко функционирует двусложная флексия.

Понимая сказанного, неудовлетворение вызывает отказ от попыток морфологического объяснения морфологического по своим следствиям явления. Рассмотренные морфонологический и фонетический подходы представляются преждевременными, пока не исчерпаны все аргументы для объяснения явления «изнутри».

В данной публикации излагаются результаты, полученные на этом пути. Их можно сформулировать в двух тезисах: 1) явление развилось в ходе межадежного взаимодействия, т. е. морфологического объединения форм Р. и Д.-М. ед. в женской парадигме; 2) его возникновение обусловлено отношениями в системе падежных противопоставлений имени существительного.

Флексия синкретически выражает значения рода, числа и падежа. В изменении формы Р. ед. из морфологических отношений затронуты прямо только падежные, а именно система падежных противопоставлений, поскольку на месте оппозиции формы Р. ед. форме Д.-М. ед. возникла омоформа Р.-Д.-М. ед.

Обращаясь к истокам явления, древнейшим его проявлениям в письменности, нельзя обойти примеры с формами прилагательного на *-ыѣ/-ѣѣ* (Р. ед.), *-ѣу/-ѣу* (Д.-М. ед.), по времени предшествовавшими восточнославянским формам на *-об/-ѣѣ* (Р. ед.), *-оу/-ѣу* (Д.-М. ед.), а затем в течение длительного времени сосуществовавшими с ними. А. И. Соболевский [1, с. 202—203], В. Я. Симонова [10, с. 299 и далее] приводят случаи, преимущественно из новгородской письменности, морфологическая сущность которых не вызывает сомнений — это форма Р. ед., образованная по типу Д.-М. ед.: *извести и-земли егунѣтѣти* — Парем 1271, 210об; *ис темници телеснѣти* — Прол 1356, 54об; *обрѣтѣся крѣстѣ... у святѣ Софѣе* — ЛН XIII—XIV, 4об; *боле крѣви не проляя крѣстьянѣстѣ* — там же, 43об; *из Грѣчьскѣи земли* — там же, 65 и некот. др., а также в ЛН ок. 1425, видимо, из-под руки псковского переписчика: *въ церкѣи святѣи Софѣя* — 114,10; *от святѣи Софѣѣ* — л. 332. Такие примеры изредка отмечаются и в других поздних летописных сводах — в Радзивилловском списке Суздальской летописи три раза *святѣи*, в Академическом списке: *у святѣи Софѣи* — л. 237; *город святѣи Богородици* — л. 246.

В этих новообразованиях реализована тенденция к объединению трех падежных форм, что подтверждается возможностью обратных замен, т. е. образованием Д.-М. ед. по типу Р. ед.: *къ Пробоинные улицы* — Гр новг. XVII (Акты Калачова, II, 392). Подборку таких примеров находим у Л. А. Булаховского [11]: *Велено, государь, мне, холопу твоему... быти на Московские дороге* (Отписка стройщика Хотельского яма Конст. Загоскина, 1585 г.); *и таможником у них имати с стѣяа по денге новгородския* (Тамож. уставн. грам. царя Иоанна Вас., в списке, писанн. в 1571 г.); *а поверил вашей безъверные веры и вашему крестному целованю* (Вымышл. статейный список посольства Андр. Ищеина 1750 г.); *и о том государь был в великие кручины* (там же), наряду с такой же формой родительного падежа: *А з гостѣи и гостинѣи и суконные сотни... никаких им служеб... не служитъ* (там же) и др. Подобные замены отражает и русский фольклор: *ко матушкѣ родимыя своей; прибѣхалъ ко церкви соборныя; сидючи въ бѣсѣдѣ смиренныя; стоятъ на пристани корабельныя* [12, с. 237]; *Уезжал Сухмантий ко синю морю, Ко тоя ко тихия ко заводи. Как приехал ко первыя*

*тихия заводи...* (Сухман); *Да ложилась спати во ложне тепляя; На мягкой перине на пуховыя* (Смерть Чурила) [11]. Возможность объединения трех падежей по форме родительного подтверждается свидетельством Н. Н. Дурново в отношении русских говоров начала нашего века: «... в некоторых с.-в.-р. говорах (Арханг., Олон. губ.) сохранились формы род. ед. ж. р. прилагательных на *ыѣ, ыѣ* (или *ые, ые*), употребляющиеся в этих говорах также и в значении дат.-местн. пад.: *ко сестрицы родимые, на кроваточки тесовые* и т. п., рядом с формами на *оѣ*» [13].

В истолковании приведенных материалов исследователи единодушны [1; 12; 13], в них признается возможность двусторонних замен падежных форм, а в сущности возможность объединения Р. и Д.-М. падежей в одной форме<sup>1</sup>. Расхождения мнений начинаются там, где речь заходит о развитии форм типа Р. ед. *новѣѣ, синѣѣ*, Д.-М. ед. *новои, синей* (об их происхождении под влиянием местоимений наиболее детально см. у П. С. Кузнецова [14]). А между тем отступления от образцов в кругу новых форм недвусмысленно аналогичны описанному выше: здесь не только замещение формы Р. ед. формой Д.-М. ед. (*новои* вместо *новѣѣ*), но и обратные замены (*новѣѣ* вместо *новои*). Природа последних, впрочем, под сомнение не ставится. А. И. Соболевский [1, с. 203] приводит их как случаи с родительным падежом на месте Д.-М. В качестве самого древнего: *оже съгрѣнеть чюжее женѣ повои с головы* — Гр 1189—1199. Однако эта грамота сохранилась в списке при грамоте 1262—1263 г. Там же еще один подобный пример: *а женѣ или мужьское дчери 40 гривнѣ*. Наверное, можно отнести эти новообразования к XII в., если привлечь выразительные показания еще одной новгородской грамоты, берестяной, рубежа XII—XIII вв. (из последних раскопок): *въ пьрвое коробѣ на ·вѣ·грвнѣ въ дroupee коробее дробѣ* [...]*ю рѣзанѣ а большѣе по ·г·рѣзанѣ* — ГрБ № 438 [15]. Позднее эти формы отражает также московская деловая письменность: *в иное земли в городѣхъ, въ Юрьѣ(в)ское волости* — Гр 1353; *в твоѣѣ вотчинѣ* — Гр 1434 [16, № 3, 31]; а также Ипатьевская летопись ок. 1425 г.: *по милое своѣи дчери, угодна бысть рѣчь его всеѣ братьѣѣ и мужемъ ихъ, идяше на шюѣѣ сторонѣѣ*.

Так же, как А. И. Соболевский, квалифицирует аналогичный пример из старобелорусской письменности (*коу сил'ное смутливости* — Сб. XV в. Публ. б. № 391, 26) Е. Ф. Карский [2, с. 236], а М. Г. Булахов обнаруживает подобные ему в большом количестве в памятниках, написанных в разных местах бывшего Литовского княжества, начиная с XV в.: *въ Мельницкое волости, въ земли Волинское, у светлицы новое, тые чотыри земли... лежащие у волости нашео Крычовское; в земли Полоцкое, на оной всей земли церковное, въ земли Жомойтское, при бытности королевское, пры остатное воли своѣи, в друкарнѣ остроозкое, въ академии Виленское, [в] обѣдни ранное и в большое, на конституции трибунальское, пры печати метрополитанское, пры печати консисторское, в небытности своѣе* [4, с. 106]. В языке художественной литературы предложный на *-ое* (*-ае, -яе* без ударения) употребляется по аналогии с родительным и у современных белорусских писателей: *у глухое далі* (Я. Купала), *на роднае зямлі* (П. Броўка) и под. [4, с. 107; 17]. Это позволяет расценивать аналогичные средневековые материалы как отражение живого формоупотребления.

Обращаясь к истории западнославянских языков, переживших объединение падежных форм в женской адъективной парадигме, мы также встречаемся с возможностью обобщения как формы Д.-М. падежа, так

<sup>1</sup> Л. А. Булаховский, однако, высказывает по отношению к формам на *-ые* (*-ыя*) недоверие, едва ли оправданное. По его мнению, это гиперизмы (мнимо правильные формы), за которыми и в Р. ед., и в Д.-М. ед. скрывалось чтение *-оѣ, -ей* [11]. Указанной омонимией озадачена также В. Я. Симонова [10, с. 299—300], она приписывает ей вторичный характер: в связи с фонетическим изменением *-оѣ* в *-ои* в разговорной речи Р. и Д.-М. ед. совпали в форме на *-оѣ*, а по аналогии в книжном языке (но не в живой разговорной речи) стало возможным употребление в значении родительного падежа формы дательного-местного. Такой вывод совершенно не согласуется с показаниями текстов, в частности Синодального списка Новгородской летописи, которая например, в записях XIII в. формы Р. ед. на *-ѣи* отражает «почти так же часто, как формы на *-ыя*», а флексию *-ои* «только в виде исключения».

и формы Р. падежа. В частности, на смену различению падежей в старочешских местоимениях (Р. ед. *té*, Д.-М. ед. *těj*) пришла общая форма — в одних чешских говорах и в литературном языке продолжающий родительный падеж, в других (на востоке Моравии) — дательный-местный падеж. В таком направлении развились и формы прилагательных [18].

Польские средневековые памятники, начиная с наиболее ранних, документируют объединение Р. и Д.-М. ед. как по форме Д.-М., так и по форме Р. падежа во всех ее вариантах. В Р. ед. до первых десятилетий XVI в. встречается флексия *-ě* (< *ē*): *z ręki nieprzyjacielskie, od dusze rozumné* (XIV), *z ziemi egipskie* (XV), *ślugą wieczne mądrości* (XVI), которая развилась из флексии *-yjě/-ějě*. Ее обнаруживают также в функции Д.-М. падежей: *slużbie ludzkie, našwiętsze matce, ku więtsze miłości, ku miłości bożęe* (XIV—XVI); *w pamięci wiekuje, w robocie ludzkie, na puszczy idumiejskie, w ziemi egipskie, w teto ewanigelije dzisiejsze* (XIV и XV); *w niemieckie ziemi, na gorze oliwne* (XVI). На протяжении XIV—XVI вв. в Р. ед. утверждается, как и в старорусском, флексия Д.-М. ед.: *z ręki nieprzyjacielowej, ode wszelikiej złej drogi* (XIV, XV), закрепленная современной литературной нормой [19, с. 332—333]. Аналогичное смешение и объединение Р. и Д.-М. ед. обнаруживается в истории форм неличных местоимений (*ona, ta, ona, nasza, moja*) [19, с. 314—315].

Чешские и польские параллели при исследовании механизма восточнославянских процессов нам кажутся вполне правомерными, поскольку у всех этих языков одни и те же исходные позиции и однотипные конечные результаты. Утверждает в таком подходе также относительная синхронность изменений, которая свидетельствуется материалами письменности. Смысл же параллелей тот, что если в отдельных деталях названные факты и допускают неоднозначную интерпретацию, то в совокупности своей они совершенно недвусмысленно доказывают наличие межпадежного взаимодействия в истории рассматриваемых форм.

Наконец, и в связи с другими новообразованиями в системе местоименных и аъективных форм так или иначе приходится говорить об омоформе Р.-Д.-М. ед. А. И. Соболевский контаминированную флексию *-оей* (*-оби*) отмечает как в Р., так и в Д.-М. падежах [1, с. 214]. Эту омонимию по отношению к Р. и М. падежам убедительно документирует старобелорусская письменность XV—XVII вв. [4, с. 76—77, 105—106]. Р. ед.: *от таковой речи, зъ тоей сьножати, поны тоей церкви, кривды ему в томъ некоторой не чинилъ, жадной переказы, с одной стороны, ни одной, тоей другой штуки, зъ другой и под.; въ пущей Перстунской, во всей пуще Молявской и Перстунской, на горѣ ветковой, при печати притисненной метрополитской; и даже в Четье 1489 [2, с. 238]: о темниці неколькои. И в Р., и в М. в языке старопольской письменности XV, XVI, иногда и XVII в. встречается флексия *-yj// -y, -ij// -i*: *od niebieski radości, z krainy Scytyjski — o któryj literze, w dzisiejszy koronie, w wieczny miłości* [19, с. 332—333].*

Таким образом, налицо разнообразные факты, объяснимые только морфологическим взаимодействием падежных форм, самим своим существованием неоспоримо свидетельствующие о давней и устойчивой тенденции к объединению Р. и Д.-М. падежей.

С этих позиций естественным шагом было бы объяснение межпадежным взаимодействием и новообразований типа *нови* в Р. ед. Видимо, от такого решения вопроса удерживает неясность причин, обусловивших объединение форм Р. и Д.-М. ед. Она не смущает, пока речь идет о немногочисленных в памятниках заменах, если и имеющих выходы в современное формоупотребление, то лишь в диалектное. Широкое же распространение формы типа *нови*, знаменующее важные изменения в системе падежных противопоставлений прилагательных женского рода, подразумевает серьезные предпосылки.

Объединение атрибутивных женских форм Р. и Д.-М. ед., как нам представляется, было предопределено развитием одноименных субстантивных форм. Нам уже приходилось писать об однонаправленном, отсубстантивном характере связи между формами существительных и опреде-

ляющих их слов и о той зависимости, которую обнаруживают последние в системе падежных противопоставлений [20]. Падеж в атрибутивных формах как явление чисто согласовательное, лишенное собственного грамматического содержания, всегда соответствует падежу определяемого существительного. Изменения в системе падежных противопоставлений имен существительных в истории русского языка и славянских языков вообще всегда сопровождалась аналогичными изменениями в формах согласуемых в падеже слов. У определяющих система падежных противопоставлений может повторять структуру падежных противопоставлений определяемого, может быть свернутой<sup>2</sup> по отношению к ней; падежные же противопоставления, не свойственные существительным, у определяющих слов невозможны. Это обусловлено вторичным, отраженным, зависимым характером атрибутивных падежных форм по отношению к субстантивным.

Что касается существительных женского рода, то их формы в древнерусский период составляли два лексически открытых словоизменительных класса, различавшихся в единственном числе, помимо флексий, также системой падежных противопоставлений. В частности, в склонении на *-a* изначально были противопоставлены Р. и Д.-М. падежи (*страны, земля — странѣ, земли*), совпадавшие в склонении на *-ь*, по крайней мере, у слов с неподвижным ударением (Р.-Д.-М. ед. *кости*). В склонении же согласуемых слов, последовательно подчиненном родовому принципу, двум основным женским субстантивным парадигмам соответствует одна. В древнейший период она повторяла падежную структуру наиболее продуктивного женского словоизменительного типа — с противопоставлением родительного падежа (*новѣх или новобѣ страны*) дательного-местного (*новѣх или новобѣ странѣ*). По отношению к парадигме типа *кость* система адъективных падежных противопоставлений была избыточной. В наличии оппозиции, несвойственной целому классу определяемых, и состояли, на наш взгляд, предпосылки для свертывания системы падежных противопоставлений определяющих, ведь омонимия Р. и Д.-М. ед. в системе адъективных форм отвечала структуре обеих субстантивных парадигм, а их различие — только одной.

Толчок для реализации этих предпосылок давали различные преобразования в формах существительных женского рода, прямо или косвенно затрагивавшие противопоставление форм Р. и Д.-М. ед.

Прежде всего, конечно, это объединение данных падежей в образованиях типа *странѣ, земли* (или *страни, страны, земли*), достаточно подробно освещавшееся и обсуждавшееся в лингвистической литературе [22—23, там же литература вопроса]. Для древнего периода это явление локализованное, связанное с Новгородом и районами его колонизации. В текстах, наиболее непосредственно отражающих особенности живой речи — имеются в виду берестяные грамоты, — новообразования типа *странѣ* преобладают в Р. ед. уже с XI в. (см. текст грамоты № 528 [15], стратиграфически датируемой XI веком).

Если омонимию в формах определяющих мы связываем с омонимией у существительных, то следует ожидать первоначального и более активного распространения в тех же новгородских документах и адъективной омонимии Р.-Д.-М. ед. Это подтверждается показаниями древнерусских и старорусских памятников со всей очевидностью. Приводя древнейшие случаи с формой Д.-М. на *-ѣ* в функции родительного падежа, в основном из церковно-книжных памятников (см. выше), А. И. Соболевский счел необходимым специально подчеркнуть, что это показания новгородской письменности [1]. Почти на два века опережают новгородские деловые

<sup>2</sup> Справедливые, рассуждения об избыточности падежных атрибутивных показателей, которая создает условия для свертывания их падежных противопоставлений по отношению к падежным противопоставлениям существительных, излагал Л. П. Якубинский: «...особое выражение во флексии тех грамматических значений, которое они выражали, оказывалось не столь нужным в словах-определениях...; специальное выражение категории падежа являлось не столь необходимым в словах-определениях потому, что значение падежа давалось определяемым именем (существительным)» [21].

документы московскую письменность и в отношении Д.-М. на -*оѣ* по образцу родительного падежа (см. выше). К Новгороду относятся также новообразования Р. ед. на -*ои*. Их традиционно связывают с Русской Правдой 1280 г.: *из нѣкоторои* — Вопр. Кирика, *първои, одинои, бортьнои* [13, с. 295]. Однако ростовщическая запись на бересте показывает такую форму уже в XII веке: *възяла с ста оу неи·с· гривѣнъ* — № 449 [15]. Регулярны подобные образования и в договорных новгородских грамотах. Вот, к примеру, сплошные выписки из древнейших грамот, опубликованных А. А. Шахматовым [24]. Гр 1264—1265, № 1: *ни изъ инои волости новгородьскои, разве ратнои вѣсти*; Гр 1264—1265, № 2: *а и-соуждальскои ти земле Новагорода не рядити*; Гр 1270, № 3: *ни изъ инои волости новгородьскои, разве ратнои вѣсти, а село стои софии исправи къ стои софии*; Гр 1304—1305, № 9: *ни изынои волости новгородьскои, развѣ ратнои вѣсти, из новгородьскои волости* и т.д. — иные формы здесь не встретились. Такое употребление наблюдается на протяжении всего XIV века: *новгородьскои* — Гр № 6 (2), № 8 1304—1305 г., № 14 1326—1327 г., № 15 1371 г., № 17 1372 г.; *суждальскои, новоторьскои* — Гр № 17 1304—1305 г., *ратнои* — Гр № 6 1304—1305 г., № 14 1326—1327 г., № 15 1371 г.; *опаснои* — Гр № 46 1392 г. и некот. др. То же показывают берестяные грамоты: *с купнои грамоте* — ГрБ XIV, № 53 [25]; *нимечкою* ГрБ XIV/XV, № 248 [26]; *мои оучастокъ зашелоскои земль* — ГрБ XIV—XV, № 519 [15] и др. В церковно-книжной литературе древнейший случай А. И. Соболевский опять же связывает с новгородским письмом: *радости ваше никто же възметъ* — Ев до 1392 (*и опущено, ср. житискъми* — 67об) [1, с. 93]. С новгородскими в рассматриваемом отношении объединялись, видимо, тверские говоры. По крайней мере, в тверской грамоте 1307—1308 г.: *новгородьскои, ратнои* [24, № 10].

Как и в формах существительных, различием Р. и Д.-М. ед. у прилагательных четко противопоставлены новгородским документам смоленские и полоцкие. Флексии -*ои* в Р. ед. мы здесь не обнаруживаем. В различных по времени списках смоленской грамоты [27]: *что лѣжитъ оу стое бѣе на горе* — сп. А 1229 г.; *что лѣжитъ оу стое бѣи на горѣ* — сп. В 1297—1300 г.; *что лѣзитъ оу стое бѣе на горе* — сп. I половины XIV в. и т.д. В полоцких документах [28]: *прѣстое* — Гр № 10 1387 г.; *стое* Гр № 3 1309 г., № 28 XIV в.

Что касается московских документов, то несомненные случаи с -*ои* в Р. ед. здесь идут только от середины XV в. [29]: *в матери своєї удѣл, в удѣлѣ княгини моеи* и др., *Черняковой, Коряковой* — Гр ок. 1401—1402, сп. вт. пол. XV в. [16, № 17]. Более ранний пример, в котором можно было бы видеть ощущение буквы неслогового |и| в форме Р. ед., омонимичной Д.-М. ед., допускает и другое толкование: образование *свое* (*свое матери* — Гр 1389 [16, № 12]) П. Г. Стрелков объясняет влиянием формы *тоѣ* [30]. Двусложная флексия в московских грамотах значительно преобладает до самого конца XVI в. [29].

Выразительны различия между московскими грамотами и документами некоторых других территорий в интересующем нас отношении. Л. Г. Чапаева обнаружила, что в собрании духовных и договорных грамот [16] все документы с частым употреблением формы Р. ед. на -*ои/-ѣи* относятся к архиву северного Галицкого княжества. Неслучайность этого обстоятельства становится явной, когда сравниваются два противня (московский и галицкий) одного и того же документа: формам на -*оѣ/-ѣе* в московских экземплярах соответствуют формы на -*ои/-ѣи* в галицких (см. грамоты № 35, 38 и др.) [29, с. 73]. Б. Унбегаун называет как обычную двусложную флексию в московских документах первой половины XVI в., приводя лишь единичные исключения. В противоположность этому новгородские и рязанские грамоты отражают в основном -*ои/-ѣи* [31]. От московских судебныхников 1497 и 1550 гг. отличается широким употреблением форм на -*ои/-ѣи*, по свидетельству В. М. Маркова [32], судебник 1589 г. краткой редакции — северный по исполнению.

Не противоречит показаниям церковно-книжного и делового жанров также летописание. Новгородская летопись отражает флексию Р. ед. *-ои* уже в записях XIII в.: *той ноци* — л. 1; *въ понедѣльникъ верьбной недѣли* — л. 69, а в записях XIV в. *-ои* встречается чаще, чем *-оѣ*: *на сборъ чистои недѣли* — л. 124об; *до Нутной улицы* — л. 132об; *честнаго креста сила и святой Софии* — л. 139; *от Прусьской улицы* — л. 154об. В Лаврентьевской же летописи 1377 г. последовательно проведена двусложная флексия. Комиссионный и Академический (XV в.) списки Новгородской летописи и Радзивилловский (XIV—XV в.) список Суздальской летописи различаются соотношением форм с двусложной и односложной флексией: в последнем, в отличие от других, примеры с Р. ед. на *-ои* единичны. И даже в Уваровском XVI века списке Московского летописного свода они очень редки. Ипатьевская летопись ок. 1425 г. ориентирована, видимо, благодаря псковскому переписчику, на северо-западные языковые особенности — в светских записях чаще *-ои*, чем *-оѣ* [10].

Противопоставление северо-западных и северо-восточных документов по форме родительного падежа выступает вполне очевидно, а поскольку оно пронизывает все жанры письменности, то не приходится объяснять это ориентацией орфографической нормы на традицию [10] или степенью ее свободы от традиции [31]. Здесь отражены живые диалектные различия в системе падежных противопоставлений определяющих слов, и можно только недоумевать, что до сих пор этот факт не получил должной оценки с позиций исторической диалектологии.

Отмеченные различия закономерно вытекают из местных особенностей в системе падежных противопоставлений определяемых. По крайней мере до середины XIV в. едва ли не в каждом из более или менее обширных документов, отразивших омонимии в адъективных формах, можно найти прямые параллели в формах существительных — примеры омонимии субстантивных форм. Причинно-следственные связи здесь, можно сказать, на поверхности.

Что же касается позднейшего территориально более широкого распространения адъективной омоформы Р.-Д.-М., то было бы, видимо, упрощением сослаться на междиалектное взаимодействие, хотя нельзя упускать из виду и его участие в этом процессе. При тех предпосылках для объединения атрибутивных форм, о которых уже говорилось, важную роль в его истории могла сыграть омонимия в формах существительных мягкой разновидности типа *земли*, возникающая в результате обобщения флексии твердой разновидности в формах с морфологической корреспонденцией *ы—ѣ*. Когда на смену Р. ед. *земль* (так же, как и И.-В. мн. типа *земль*, В. мн. типа *контъ*) пришла форма на *-и*, Р. падеж и Д.-М. ед. у существительных с мягким согласным в исходе основы совпали. Такое состояние отражают, например, ранние московские духовные и договорные грамоты — духовная грамота великого князя Ивана Даниловича Калиты ок. 1339 г. в обоих ее вариантах, докончание великого князя Семена Ивановича с князьями Иваном Ивановичем и Андреем Ивановичем ок. 1350 — 1351 гг. [16]. Эта омонимия сложилась в говорах великорусского центра до XIV в., она разрушилась только в связи с устранением морфологической корреспонденции *ѣ — и*, с замещением Д.-М. ед. на *-и* (*земли*) формой на *-ѣ* (*земль*), которое осуществлялось постепенно, с сосуществованием форм на *-и* и на *-ѣ* на протяжении нескольких веков.

Видимо, не случайно, что староукраинские говоры, у которых отношения в формах твердой и мягкой разновидностей склонения складывались по-другому (омоформа Р.-Д.-М. ед. *землі* — явление сравнительно новое и особого происхождения), сохранили двусложную адъективную флексию Р. ед. И наоборот, старопольский язык, в котором субстантивная омонимия затронула в основном лишь мягкую разновидность склонения, последовательно осуществил объединение адъективных форм.

Однако старопольские языковые источники дают разносторонний материал для размышлений и сопоставлений в интересующем нас направлении, и на этом стоит остановиться подробнее. Замещение флексии *-ѣ* флексией *-и* в форме Р. ед. типа *ziemi* в истории польского языка (в отли-

чие от русского) не может быть объяснено влиянием твердой разновидности, так как в других формах с морфологической корреспонденцией *y—ě* обобщения флексии твердой разновидности не произошло: И.-В. мн. *wody — ziemię, wozy — konie*. О тенденции к омонимии можно судить по ее различным проявлениям, которые связывают Р. ед. с формой Д.-М. ед., с одной стороны, и с омоформой Р.-Д.-М. ед. женской парадигмы на согласный — с другой, и обе эти парадигмы — со складывающейся омоформой в системе склонения прилагательных. В этот ряд мы ставим такие факты [19], как: 1) постепенное на протяжении XIV—XVII вв. замещение флексии *-e* <\*-ě флексией *-i* в Р. ед. после мягких согласных: *prawicy, nędzy, nadziei, obłubienicy, pieczy, bogini, łóżnicy, stajni*; 2) уподобление женского склонения на согласный склонению на *-a* в форме Р. ед. на *-e*, случаи типа: *gęśle, czeladzie, słodycze*; 3) распространение новообразований на *-ej* из адъективной парадигмы как в склонении на *-a* (Р. ед. *wolej, rolej, strożej, duszej* и т. д.; Д. ед. *braciej, pracej, wolej, gospodyniej* и т. д.; М. ед. *ziemiej, wolej, gospodynjej, pracěj, rolěj* и т. д.), так и в женском склонении на согласный (Р. ед. *przyjaźniej, kradzieżej*; М. ед. *o niewdzięczności, w otchłanjej*).

На их примере особо наглядны и типологически показательны взаимное уподобление двух женских парадигм (типа *ziemia* и типа *przyjaźń*) и словоизменительная связь их обеих с атрибутивными формами. При обращении к русскому диалектному материалу тут возникают определенные параллели.

В истории русского языка вологодские говоры примечательны устойчивым сохранением различий между Р. и Д. -М. ед. в склонении на *-a*. Если взглянуть глубже, то это диалектная территория, где унификация системы падежных противопоставлений у слов женского рода ориентирована на парадигму типа *страна* (а не на парадигму типа *кость*), так как именно здесь эпицентр форм типа *к, по грязё*, т. е. уподобления последних формам типа *земле* [9, с. 274]. Одновременно, и в свете всего сказанного это выглядит закономерным, вологодские говоры — эпицентр распространения двусложной адъективной флексии Р. ед. при односложной флексии Д.-М. ед., т. е. сохранения различий между Р. и Д.-М. ед. в женской атрибутивной парадигме [33]. Здесь очевидна причинно-следственная связь между системой падежных противопоставлений существительных и определяющих слов.

Она «работает» и в противоположном направлении — при ориентации говоров на систему падежных противопоставлений парадигмы типа *кость*. Для существительных при этом характерны омоформы Р.-Д.-М. ед. типа *жене* или *жены* и унификация ударения в Д. и М. падежах по форме *грязи́*, реже *грязё* (ареалы последних «находятся в основном в пределах территорий, характеризующихся совпадением форм род.-дат.-предл. п. существительных продуктивного типа склонения с основой на *a...*» [9, с. 76]), а для прилагательных омоформы типа *доброй*. Но наиболее показательны в рассматриваемом отношении современные диалектные данные относительно местоименной формы Р. ед. |йей| (|н'ей|), т. е. омоформы Р.-Д.-М. Она «имеет широкое распространение по говорам русского языка, при этом с явным разрежением на северо-восточной части говоров русского языка (читай: там, где Р. и Д.-М. различаются у существительных. — Ш. М.)... В пределах южного наречия, а также на северо-западе территории выделяются значительные территории исключительно употребления данной формы... Характерно, что в пределах этих же территорий наблюдается совпадение форм род.-дат.-предл. п. ед. ч. существительных женского рода с твердой основой в одной форме типа *к жене, у жене, о жене* или *к жены, о жены, у жены*». И далее: «В настоящее время форма род. п. |йей| известна подавляющему большинству говоров, имеющих совпадение форм род.-дат.-предл. п. существительных женского рода, редко ее отмечают на территории говоров, различающих эти формы» [9, с. 85—86].

В связи с историей формы Р. ед. *её* мы возвращаемся к вопросу о предопределенности падежных противопоставлений синтаксической ролью местоимений и прилагательных. «Водораздел», который прошел между

местоимениями, имевшими в древности одну и ту же парадигму, но в предложении выполнявшими разную функцию, закономерен. Местоимение *она*, замещающее существительное, в литературном языке и отчасти в говорах сохранило, как и существительные, особую форму Р. ед.: *к ней, о ней, но у неё*; местоимения, замещающие прилагательные, т. е. синтаксически зависимые от существительного, выступающие в атрибутивной функции, выработали омоформу Р.-Д.-М. падежа: *к моей сестре, о моей сестре и у моей сестры*.

Из сказанного вытекают некоторые выводы методологического характера. Исследование форм, имеющих вторичный, отраженный характер, не может вестись независимо от форм, значения которых они повторяют. В частности, интерпретации относительно системы падежных противопоставлений согласуемых слов невозможны без опоры на формы существительных. С другой стороны, в силу своей зависимости согласуемые слова в динамике их форм могут быть использованы для интерпретации словоизменительных процессов существительного. Так, они выявляют, что рассмотренные омоформы существительных — это не внешнее явление, обусловленное только определенным стечением обстоятельств (например, совпадением падежных форм в ходе взаимодействия разновидностей), а органический элемент структуры падежных противопоставлений, ее действенный механизм.

Возможно, не будет чрезмерной смелостью предположить, что динамика атрибутивных форм может прогнозировать направление развития форм субстантивных. Основания для размышлений в этом направлении дает следующая зависимость, прослеживаемая на именном словоизменении: то, что в преобразованиях существительных (осложненных разного рода ограничениями — лексико-семантическими, словообразовательными, морфонологическими и под.) лишь намечено как тенденция развития или проведено непоследовательно, у согласующихся с существительным форм обретает регулярный характер. Это касается структуры всех общих для имени категориальных противопоставлений — родовых, числовых и падежных. Примеры тому: перестройка словоизменительных парадигм по родовому принципу; замещение форм двойственного числа формами множественного в связи с утратой значения двойственности; вычленение числового показателя [см. 34; 6, с. 233—234; 20] в парадигме множественного числа, объединение И. и В. падежей множественного числа в системе форм мужского рода по форме В. мн. К этому перечню можно теперь прибавить также объединение Р. и Д.-М. ед. в женском склонении в процессе унификации женских парадигм в их противопоставлении «неженскому» склонению.

Возможно, что в этот ряд станет и замещение флексии Т. ед. -ой флексией -ой, проведенное в атрибутивных формах более последовательно, чем в субстантивных: литературный язык допускает варианты вроде *странною* и *страной*, но в определении только *нашей*; некоторые юго-западные великорусские говоры при формах субстантивного склонения на -ою/-ею (*странною, землю*) в адъективном склонении допускают -ою/-ею и -ой/-ей (*новою, нашею и новой, нашей*). Этот вопрос, однако, еще должен исследоваться. Для обсуждаемой темы нелишним будет подчеркнуть, что распространение адъективной флексии Р. ед. -ой/-ей и распространение омонимичной ей флексии Т. ед. с предложенных здесь позиций должны рассматриваться как явления, независимые друг от друга. Такой подход находит опору также в хронологических и территориальных несоответствиях в их развитии.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. 4-е изд. СПб., 1907.
2. *Карский Е. Ф.* Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. 2—3. М., 1956.
3. *Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. Морфология. М., 1953, с. 166.
4. *Булахов М. Г.* Прыметнік у беларускай мове. Мінск, 1964.
5. *Шахматов А. А.* Историческая морфология русского языка. М., 1957, с. 340—341.
6. *Горшкова К. В., Хабургаев Г. А.* Историческая грамматика русского языка. М., 1981.

7. Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. 2-е изд. М., 1965, с. 156.
8. Магура Е. С. Морфологические особенности языка Устюжского летописного свода: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Харьков, 1954.
9. Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. М., 1970.
10. Симонова В. Я. Членное склонение имен прилагательных в древнерусских летописных списках XIII—XVI веков.— Уч. зап. Ворошиловского пед. ин-та, 1957, сер. ист.-филол. наук, вып. 1.
11. Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка. Т. II. Киев, 1953, с. 174.
12. Буславев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. М., 1959, с. 237.
13. Дурново Н. Н. Очерк по истории русского языка. М.—Л., 1924, с. 296.
14. Кузнецов П. С. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959. с. 152—154.
15. Арциховский А. В., Янин В. Л. Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1962—1976 годов. М., 1978.
16. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М.—Л., 1950.
17. Граматыка беларускай мовы. Т. 1. Марфалогія. Мінск, 1964, с. 183.
18. Селищев Л. М. Славянское языкознание. Т. 1. Западнославянские языки. М., 1941, с. 143—144.
19. Klemensiewicz Z., Lehr-Splawiński T., Urbańczyk S. Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1964.
20. Шульга М. В. О причинах устранения родовых различий во множественном числе у родоизменяемых слов.— ВЯ, 1984, № 3.
21. Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953, с. 187.
22. Добромьслова А. Н. К интерпретации одного явления падежного синкретизма в древнем новгородском говоре.— ВЯ, 1961, № 6.
23. Хабургаев Г. А. К вопросу об интерпретации падежного синкретизма в русских говорах.— ВЯ, 1963, № 3.
24. Шахматов А. А. Исследование о языке Новгородских грамот XIII—XIV в.— Исследования по русскому языку. Т. I. СПб., 1885—1895.
25. Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот. М., 1955, с. 125.
26. Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963.
27. Смоленские грамоты XIII—XIV веков. Под ред. Аванесова Р. И. М., 1963.
28. Полоцкие грамоты XIII—нач. XVI вв. Вып. 1. М., 1977.
29. Чапаева Л. Г. История форм неличных местоимений в говорах великорусского центра (XIV—XVI вв.): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1984.
30. Стрелков П. Г. О языке семи древнейших заветаний московских великих князей XIV в. Пермь, 1927, с. 17.
31. Unbegaun B. La langue russe au XVI<sup>e</sup> siècle (1500—1550). Paris, 1935, p. 324, 375.
32. Марков В. М. Формы имен в языке судебников XV—XVI веков.— Уч. зап. Казанского у-та, 1956, т. 116, кн. 11, с. 92—93.
33. Диалектологический атлас русского языка. Вып. II. Морфология. Карты № 42 (прилагательные) (автор Пшеничникова Н. Н.) и № 74 (местоимения) (автор Сологуб А. И.). Минск (в печати).
34. Марков В. М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. М., 1974, с. 97 и сл.